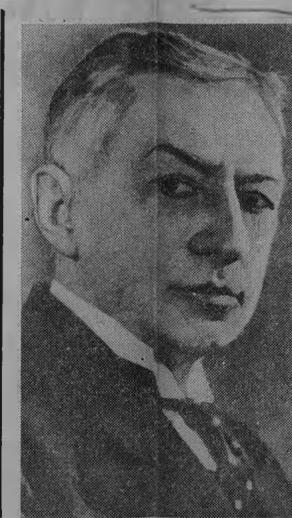


НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

К 120-летию И. А. БУНИНА



Иван Алексеевич Бунин

ЗДЕСЬ почти уместно вспомнить слова, сказанные Чеховым в разговоре с Иваном Алексеевичем. Говорили они о литературе и, конечно, в первую очередь о Толстом, который незадолго перед тем перенес очень тяжелую болезнь и находился в Гаспре. — Тут умрет Толстой, все пойдет к черту, — не переставая повторять Чехов.

Литература? — И литература. Бунин, записывая эти слова, от себя добавил: «Тут Чехов ошибался, литература уже начала идти «апрям» и при жизни Толстого».

Но вот умер Бунин, и та классическая линия русской литературы, которую он с таким достоинством представлял и о которой так картинно писал Польш Валери, как о «русском чуде», прервалась. В известной мере он действительно был «последним из могикан». Появлялись, конечно, значительные вещи — было бы неслучайно отразить — но все в них было как-то упущено (даже если умышленно усложнялось), не было ничего равноценного по звучанию, по удельному весу, ничего, что можно было бы поставить на одну полку хотя бы с «Жизнью Арсеньева».

Я познакомился с Буниным в Париже в 1923 году на весьма пышном в эмигрантских условиях бале, ежегодно для пополнения своей кассы устраиваемом «Союзом писателей и журналистов» в ночь под «старый» Новый год. Если память мне не изменит, представил

Галия и Марга, именовавшиеся «барышнями», обитали полусамостоятельно наверху, а так называемой «башне», и мне почти сразу бросилось в глаза, насколько они были слишком откровенно неразумны, как редко сходили вниз «в общие покои» поодиночке...

В одну из первых недель моего пребывания под бунинской крышей, после того как все домашние уже разошлись по своим комнатам, Иван Алексеевич появился у изголовья моей кровати. Благо осень была совсем теплой, и я спал еще на застеленной веранде. Он пододвинул стул к моему изголовью и затеял длинный разговор, говоря о своей участи, или, как он говорил, «о величии и палении» Бунина, о величии и славе нобелевского лауреата, который пожимал руку королям, и о своем нынешнем положении «нищего старика», которого ни за что ни про что честит какой-то нахальный салонник. «Вот, мол, когда-то интервьюеры вертелись вокруг меня, как пчелы вокруг соты», — продолжал он, — а теперь я ниц, как Иов, и никому в мире до меня не дела».

Особенно пессимистично он смотрел на будущее, которое в те дни действительно должно было казаться весьма мрачным. Исход битвы за Англию еще не определился, а подцензурные французские газеты да заодно с ними и «Журнал де Женев», который иногда еще можно было купить в киосках, шумели о гитлеровской непобедимости. Между прочим потом Бунин признавался, что умышленно сгу-

«СКОЛЬКО Я УСПЕЛ НАВИДАТЬСЯ»

Воспоминания Александра Бахраха

меня Ивану Алексеевичу, еще сравнительно молодому и молодцеватому, такому в своем сморщенном представительном, с внешностью, напоминающей римского патриция, Борис Зайцев Но «сближение» (намеренно ставлю это слово в кавычки) с ним произошло почти тотчас же. Это было обложено тем, что Бунины были хорошо знакомы со старшим поколением моего семейства, и его дружеское ко мне отношение я получил, так сказать, «по наследству».

У себя дома Бунин приемов не любил. Поль гостеприимного холяина была ему не по душе, хотя в ограниченном кругу он эту роль всегда выполнял с блеском и со свойственной ему словесной широтой сыпал всякими остротами и эпиграммами (как бесконечно досадно, что никто не удосужился их записать). Не раз мне приходилось быть свидетелем того, как он разгрызал шарики на знакомых и друзей и в первую очередь изображал коллег по перу, всегда метко, иногда зло, никогда не злобно. Актер он был вообще переклассный, и не надо удивляться тому, что в свое время Станиславский настоятельно предлагал ему включиться в труппу Художественного театра. Впрочем, в данном случае Станиславский не был тонким психологом: Бунин и театр, Бунин и дисциплина — две «вещи несовместные».

Довольно часто мне приходилось также встречаться с Буниным в «нейтральных» местах, то у общих знакомых, то в монпарнаских кафешках в которые тогда чуть ли не ежевечерне любила сходиться литературная молодежь. Несмотря на разницу лет и положения в литературе (после получения Нобелевской премии Бунин, сам над собой посмеиваясь, любил приговаривать: «Я, который обаял словом...»), хоть и не терпевший фамильярности, все же стремился быть с каждым на равной ноге. На Монпарнасе он старался разгрызать роль старшего товарища, ухаживать за молодыми (и средних лет!) поэтами, которые каждое его слово готовы были принять за чистую монету и уже мысленно скакать с ним в Венецию, в силу давней традиции безответственно упоминаемому им для того, чтобы возбудить к себе больше интереса. Благо Венеция в те годы из-за трудности путешествий и всяких виз была «за семью морями», а зато совсем поблизости была русская забавлялка, и туда за полночь он любил почти очереду Дюжветту и опрокинуть в ее компании ромку-другую водки с горячим пирожком...

Читатели «Жизни Арсеньева» едва ли обратят должное внимание на как бы случайно вкрапленную фразу о том, что «воспоминания — нечто столь тяжелое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них». Мне представляется, что это не только одно из ключевых фраз бунинской книги, но ее никуда не следует упускать из виду, вспоминая Бунина — человека и писателя. Бунин — большой русский писатель (я хотел было по-тургеневски написать «земель земли русской», но не решился...), и мне кажется, что любая памятка о нем, будь то серьезная, будь то пустяковая, необходима для будущего, и незначит обходить молчанием некоторые, хотя бы теньевые стороны его жизни, разбавлять их розовой ваткой и способствовать распространению «легенд». Смешивать литературу с агитграфией — дело, как мне кажется, предосудительное. Но, кроме того, вспоминать о Бунине тем, полнее, что порой он сам забывал прошлое, то приукрашал его, сам того не замечая, то сгущал краски, не для того чтобы кого-то разжалобить, а просто в силу своей художественной натуры, неизменно преобладавшей в его творчестве, может быть, казавшейся ему слишком тусклой. И еще: часто он говорил одному, а другому другое — а том же самом, смотря по настроению. А ведь как никак кому, как не ему, будет суждено «стать достоянием доцента и критиков новых плодителей»...

Я должен теперь перескочить через десятилетия, отклониться в сторону и описать мое появление в Грасе на бунинской «Жаннетте» поздней осенью сорокового года, такого трагического для Франции, и как этот визит оказался словно внушенным мне моей доброй феей — она, кстати сказать, не раз выручала меня, особенно в военное время.

Трудно, действительно, учесть, как бы сложилась моя жизнь, если бы я тогда, будучи в кругу светлого случая демобилизован в Санкт-Максимо, одним из кураторов срединноморского побережья, не вдумал «забрести» к Буниным перед тем, как принять дальнейшие решения. Помимо привязанности к Бунину, этот визит в Грас был продиктован еще и тем, что пока я был в армии, я вел ушащенную переписку с Верой Николаевной. Когда я очутился на «Жаннетте», бунинское «семейство» состояло из четырех человек. Кроме самих Буниных, у них жила поэтесса Галина Кузнецова и ее подруга — сестра философа Степуна Марга, певица, обладавшая сильным характером и нелюбимым голосом, в прошлом выступавшая на некоторых провинциальных немецких оперных сценах, а теперь усаждавшая редких гостей пеннием «Ich große nicht». Непременный член бунинского окружения Зуров тогда еще отсутствовал, он находился на излечении в каком-то санатории и появился несколько позже.

После короткой паузы — он докурив папиросу и сразу же вставил другую в свой вишневый мундштук — без малейшей связи с предыдущим вдруг спросил, словно выстрелив: «А почему вы не цените моих стихов? Я, ей-Богу, недурно писал, — он улыбнулся, — но думает, что они, конечно, недостаточно праны и изысканы, как у Блок».

Мне было трудно ему ответить, да едва ли он моим ответом интересовался, потому что тут же добавил, что, по словам Горького, какие-то его стихи хвалил «сам» Толстой, который вообще к стихам относился «сыска» (Я запомнил это бунинское слово). — Иван Алексеевич, мы когда-то уже с вами на эту тему говорили в Париже, когда после выхода тома ваших избранных стихов я клянчил у нас экземпляр этой книги, а вы якобы не хотели мне его подарить и только чуть-чуть попользовались, вытаскивая экземпляр откуда-то, чуть ли не из-под кровати (он преврал меня, как, негодий, так запомнил, что я люблю укладывать новые книги под кровать, чтоб не сперли; заглянуть туда никто не догадается), и надписали на нем что-то вроде «Аля, зачем вам мои стихи», оставив тут же целую колоду восхлищательных знаков. (Том этот у меня сохранился, и бунинское посвящение я в точности Вуину запомнил).

Неужто? Значит, зря я вам его преподнес. Неужели вы не сумели оценить хотя бы моих строк о последнем шмеле?

Что даю тебе знать человеческой думы, Что давно опустели поля, Что уж скоро в бурьян сдует ветер утробный Золотого сухого шмеля! Я много раз слышал, как Бунин читал свою прозу, но, кажется, в этот осенний вечер я впервые слышал, как он наизусть читает собственные стихи. Несмотря на безыскусственность его чтения, на отсутствие в нем малейшего напряжения, эти строки до сих пор звучат в моих ушах.

Омнему тут же, хоть это было много позже, что как-то не известно по какому поводу, я декламировал при Иване Алексеевиче «плонхские» стихи Эренбург, сплошь надуманные, потому что, зная его, могу предполагать, что он был подвержен морской болезни: Я любил ветер верхних палуб, Ремесло пушкаря, Уличные скандалы, Двадцать пятое октября...

Чему изысканному перу принадлежит этот шедлер? — спросил Бунин. — Плоско и живо. Но это черт знает что такое, как все вы уже двадцать пять лет по одному шаблону читаете стихи, не считаясь с их содержанием, не индивидуализируя их.

Передразнивая меня, он долго скандировал: Меня полагат в про-долговатый ящик, Свидетель стоальных изме-зюв...

— Я и вашему Ходасевичу не раз об этом говорил, но он оправдывался тем, что и Пушкин, мол, подпевал стихи. Не верю, а если подпевал, то это были именно такие, которые требуют напевности, а вы все в одну кучу валите.

— Ну что, — продолжал он, все еще думая о своих стихах о шмеле, — разве это хуже швырянья ананасами, да еще в небеса! Впрочем, вы, несомненно, приняли бы ближе к сердцу одну из самых ранних моих вещей, которую начал сочинять еще в Ельце, будучи гимназистом, значит, как вам известно, как бы под столом еще ходил, а закончил, когда уже жил на приволье в имени моей бабки. О это был «роман в стихах» — «Петр Лихачев». В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе, и я ими невольно заразились. Подумал, что с ними будет «куснее». Я был тогда очень горд своим сочинением — но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту оттуда несколько строк, которые почему-то врезались в память.

Мне до сих пор досадно, что я тогда же не записал весь фрагмент этого «романа в стихах», который он продекламировал. Впрочем, я думаю, что записывать его строки он бы мне не позволил. А на утро я запомнил всего лишь две строки из самого начала — запомнил, потому что, вероятно, не понял их смысла, хоть и записал в тетрадь: И над калиткою стояло: Сей дом четвертого квартала...

Это, вероятно, самое раннее, что дошло до нас из всего бунинского творчества. А объяснил мне он смысл этих строк на следующий день: оказывается, в те допотопные времена в Ельце на каждом доме красовалась ржавая жестяная дощечка с надписью: «дом мешанина такого-то, такого-то квартала», а номеров у домов не было...

КОЛЬКО я успел навидаться, как под столом еще ходил, а закончил, когда уже жил на приволье в имени моей бабки. О это был «роман в стихах» — «Петр Лихачев». В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе, и я ими невольно заразились. Подумал, что с ними будет «куснее». Я был тогда очень горд своим сочинением — но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту оттуда несколько строк, которые почему-то врезались в память.

СКОЛЬКО я успел навидаться, как под столом еще ходил, а закончил, когда уже жил на приволье в имени моей бабки. О это был «роман в стихах» — «Петр Лихачев». В чем там было дело, конечно, не помню, помню только, что мой роман был не чужд народнических тенденций, которые, честно говоря, были от меня дальше, чем Большая Медведица, но эти тенденции носились в то время в воздухе, и я ими невольно заразились. Подумал, что с ними будет «куснее». Я был тогда очень горд своим сочинением — но, кажется, в его оценке я был вполне одинок! Я вам на сон грядущий прочту оттуда несколько строк, которые почему-то врезались в память.

Есть в русской литературе имена, одно лишь звучание которых рождает в душе неповторимое явление России. Иван Бунин — одно из таких имен. Сегодня, в канун 120-летия со дня рождения писателя, первого среди российских литераторов лауреата Нобелевской премии, его творчество возвращается на Родину в полном объеме. Известно, что после Октябрьской революции И. А. Бунин покинул Россию, поселился во Франции. Зимой жил в Париже, на лето переезжал в любящийся ему провинциальный Грас в 27 километрах от Средиземного моря. Здесь провела себя его Муза, здесь он создал практически все, написанное на чужбине. Причем творческая его мощь вопреки законам жизни, когда в старости силы убывают, с годами лишь возрастала. Высокое признание получил вышедший в 1925 году роман Бунина «Митина любовь», поэтическим шедевром стали «Избранные стихи» (1929). Высокую читательскую оценку получили «Жизнь Арсеньева» (1930), специализируются признается лучшей книгой о Льве Николаевиче — «Обозрение Толстого» (1937). Вершиной творчества явился сборник любовных новелл «Темные аллеи» (первое полное издание — Париж, 1946 год). Итогом размышлений о нравственности творчества стали «Воспоминания» (1950). (Журнал «Искусство» в № 11 представил главы из этой книги, не вошедшие в отечественные собрания сочинений).

Одним из самых близких людей Бунина был писатель Александр Бахрах. Он провел под одной крышей с Буниным почти все годы фашистской оккупации Франции на вилле «Жаннетте» в Грасе. В 1979 году Бахрах выпустил в США международную книгу «Бунин в халате», до сих пор у нас не опубликованную.

В отличие от некоторых журналистов, писавших о Бунине, Бахрах не пытается наложить литературный грим на облик великого писателя, и от этого его герои только выигрывают. Не обходит вниманием Бахрах и бытовые «мелочи», которые как раз и создают полнокровный, живой образ Ивана Алексеевича, со всеми его недостатками и высокими достоинствами. Сегодня мы предлагаем читателям отрывки из этой книги. Публикация Валентина ЛАВРОВА.

проеивает в свое решето популярность и земную славу. Вы, например, слышали что-нибудь о Шеллер-Михайлове, о Терпигореве, человеке талантливым, написавшем очень неплохую книгу «Оскудение», об Альбове, которого Шмелев по культуре произвел в «русские Пруты»? А среди моих коллег по Разряду Изящной Словоустности были такие разные люди, как Златовратский и Боборыкин.

Народник Златовратский на рубеже веков был настолько знаменит и популярен, что в литературной среде его иначе, как «Триумфальными воротами» или даже «Иверской», не называли. Он сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков. Это тогда было необычайно и смело! У меня недавно лежали старинные комплекты «Отечественных записок», и я пробовал пересмотреть кое-какие его вещи... Не мог, нет сил — все плоско, глубоко и фальшиво. Вспомню какой-то шаблонный мужик Масей Масеч или Псой Поим — где он только такие имена находил? — а сын у него непременно богатырь и железный революционер-народник. А при этом Златовратский деревенской жизни вовсе не знал, всегда жил в городе. Он, конечно, не чета Глебу Успенскому. Успенский был и умен, и талантлив, и его и теперь интересно перечитывать. Впрочем, еще интереснее Николая Успенский, двоюродный брат Глеба, человек с по-русски трагической судьбой, который грех забывать.

Златовратский, однако, пережил расцвет своей славы, она от него отхлынула еще при его жизни. Вспоминаю его на закате дней вечно недовольным, окруженным писателями «из народа». Он шатал по комнате в каких-то бесформенных засаленных штанах, заложив руки за спину, и угромо бурчал: — Декаденты, говорят, какие-то появились. За ними еще марксисты какие-то идут. Не знаю, батюшка... это все чупуга, это все пройдет...

Таким он в моей памяти и остался. А Боборыкин был совсем из другого теста. При жизни Тургенев Стасюлевич считал своим долгом открывать январскую книжку «Вестника Европы» каким-нибудь новым тургеневским романом. Это был, так сказать, новогодний подарок читателю. С 1883 года это почетное место в журнале досталось Боборыкину. Вот как он тогда расценивался, а вы сейчас нахально улыбаетесь, молодой человек...

Следующие за этим поколение уже Боборыкина презирало, шутили окрестив его «Пьером Бобо», и злорадничали на нем до конца его жизни и остался. Двадцатый век с ним серьезно не считался. А ведь очень умный был человек, только большим талантом Бог его не наделил (...).

А каким оролом был в эти самые годы окружен Скиталец (в миру просто Петров). Это был высокий, очень развязный мужчина с длинной, фаллообразной пеей. Он все велал о революции и под эти вещания издавал открытки со своим изображением — сидит этак артистически, откинувшись назад и перебирая гусли, да не просто гусли, а «гусли-мысли!» Открытки продавались в десятках

тысячах экземпляров. А когда он ездил по Арбату на лихаче на дугах шинях в обнимку с Шалыгиным, не было человека, который бы не обернулся: «Скиталец едет!».

На каком-то благотворительном вечере в Дворницком собрании — тысячи три публики — он прогрохотал наделавшие столько шума неуклюжие строки:

Я ненавижу глубоко, страстно Всех вас вы — жист в нилом болоте... Если бы вы видели, что творилось с публикой, с разъяренными курсистками и акusherками и перловыми дантистами. Все точно походили с ума: стук, свист, аплодисменты, крики, настоящая буря. Его без конца заставляли бисировать.

После ужинали большой компанией у Тестова. Скиталец считал себя героем дня. Он заказал тарелку зеленых щей и тарелку зернистой икры, потом задалулся, бросил в щи scomжаную салфетку и изрек:

Да, сорвал-таки, кажется, аплодисменты... Да, сорвал. А что стало? О, Гусь! — Пишут, пишут братья-писатели, а сколько вещей они и не знают...

— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях... Не ведают самых элементарных законов физики, не знают анатомии, свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправлялись в Ниццу.

Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим жилкам да еще по каким-нибудь едва заметным признакам, которые большинство из пишущих не замечает, опшшу вам ее наружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как-то сидел в ресторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой-то лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, перевернул разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господина написать. Для писателя это полезнейшая икра.

А Алданов, прекрасный писатель, издала женщину от мужички, кажется, не отличил. А ведь он совсем не близорукий!

Зато как знали все эти «мелочи» Толстой или Флобер. Поэтому так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Наташа Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько слитны, так логичны, так все одно из другого вытекают — ни единой погрешности, ни единой фальшивой нотки, — что мое, ваше, чье бы то ни было представление о ней будет мало чем другим от друга отличиться.

А тургеневская Лиза — все-таки абстракция. Ее образ распадается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы можете себе ясно представить Джемму? Ну хорошо — уски слегка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Тургеневу, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин... Хоть он многого, может быть, и не знал, но у него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое-то чудовищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это какое-то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать семь лет так все знать.

Если бы какие-нибудь Гюгены до конца знали все эти вещи — они стали бы первоклассными писателями. А так — много блеска, очень талантливо, но сухо, чего-то постоянно недостает, и это их губит.

И Корolenko этим грешен. А еще больше Горький, по существу большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообразности, все его «погрешности». Вы и не оберетесь. Да, необходимо «на зубок» знать то, о чем пишешь.

Вот, например, в каком-то горьковском рассказе — если не ошибаюсь, называется он «Рождение человека» — нагромождены физиологические подробности, о которых сама природа не ведала. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или какой-то другой реки. И вдруг Горький серьезно пишет: «Клевоны листья, пывшие по воде, были как обрубленные человеческие руки и как ломти солонныя...».

Вы только вникните в эту фразу. Я даже не говорю о том, что вообще безграмотно давать два сравнения. Но «обрубны пела», которые плавают — где же Горький такое видел? Или он считает необычайно выразительным, вроде «моря, которое смеется», то, что один глаз впивался в нас, а другой лукаво подмигивал». Разве это дает хоть малейший образ? Это демагогия, и ничего больше.

Когда мы когда-то во время оно вместе жили на Капри, я неоднократно говорил ему: «Алексей Максимович, у вас тут точно вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли — там взяли лило, здесь туловище, тут ногу — разве в природе воображими подробные соединения?». Он почесывался и говорил: «Да, оно, конечно... пожалуй, вы и правы».

Вспоминаю это Иван Алексеевич, уморительно имитируя окаяющий горьковский говор. А у Леонида Андреева (Иуда на закате взшел на Елеонскую гору (действие происходит в Иерусалиме), распростер руки, и «тень его казалась черным распятием»). И эффект-то какой дешевой. Но не в этом дело: я ему заметил: «Леонид, а ведь солнце-то заходит с другой стороны Мертвого моря».

Ты вечно о пустяках, — недовольно возражал мне Андрей. Но ведь это отнюдь не пустяки (...)

В ИНОСТРАННОМ обществе — в первые годы эмиграции мы еще были «саморосскими пирами», и нас постоянно приглашали — Мережковский постоянно подвизал какого-нибудь именитого гостя к Зинаиде Николаевне и представлял ее: — Неужели вы не знакомы с моей женой, знаменитейшей русской поэтессой. А когда незадолго до войны Мережковские были в Италии, они были приняты Муссолини. — Дуче, я пишу теперь книгу о Данте и о вас... Тише, тише, — забормотал дуче. Мережковский сам мне об этом рассказывал, восхвалял скромность Муссолини! (...) Прекрасно имитирует многих своих современников, Горького, Бальмонта, Алешу Толстого. Актерская жилка в нем очень сильна, хотя театра он не любил. Знает это и, смеясь, замечает: — Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал Станиславский? Наверное, стал бы знаменитостью, а теперь, скажите на милость, кто меня читает? А все-таки отлично знает, что забыть он не будет.

По поводу какой-то домашней хозяйственной неопылки я замечаю: — Ну это исправит трудно... — Трудного ничего на свете не бывает, — перебивает он меня, — вот и «Войну и мир» не легко было написать, а однако же Лев Николаевич ее написал.

Потом, улыбувшись: — Это вы, злодей, вероятно, хотели сказать, что я бы не смог. Он задумался и вдруг: — Вы постоянно хотите меня унижить!

— А вы часто перечитываете «Повести Белкина»? — В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.

— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его недостаток. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрывать книжку на последней странице и начинать снова с первой.

И как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежесекундно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. И сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку, опиравшийся на костыль, старичок, опиравшийся на костыль. Ну, конечно, это был знаменитый Бекетов, но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, похожий на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никто не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной. Надо было сказать, что в Академии мы были чрезвычайно велики и почтительны и иначе, как «ваше превосходительство», друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по «табели о рангах» соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой приутился, кашлянул и, наклонившись ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такая же листвен был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?»

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844 году. — Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из «Хаджи-Мурата», опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжиком показывая мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал, и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...

— Вы едва ли сознаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите какой-нибудь толстовский текст. Каждому портрету улетается всего лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая вена. Вы никогда ни с кем не спутаете ни Наташу, ни Соноя, ни Анну. Один только Иван Ильич нарисован общо. Но это ведь Толстой сделал умышленно. Рассказ ему лучше следовало озаглавить «Смерть Ивана Ивановича».

— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его недостаток. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрывать книжку на последней странице и начинать снова с первой.

И как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежесекундно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. И сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку, опиравшийся на костыль, старичок, опиравшийся на костыль. Ну, конечно, это был знаменитый Бекетов, но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, похожий на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никто не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной. Надо было сказать, что в Академии мы были чрезвычайно велики и почтительны и иначе, как «ваше превосходительство», друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по «табели о рангах» соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой приутился, кашлянул и, наклонившись ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такая же листвен был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?»

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844 году. — Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из «Хаджи-Мурата», опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжиком показывая мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал, и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...

— Вы едва ли сознаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите какой-нибудь толстовский текст. Каждому портрету улетается всего лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая вена. Вы никогда ни с кем не спутаете ни Наташу, ни Соноя, ни Анну. Один только Иван Ильич нарисован общо. Но это ведь Толстой сделал умышленно. Рассказ ему лучше следовало озаглавить «Смерть Ивана Ивановича».

— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я буквально страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой Пушкина. А тут его недостаток. Его проза суховата, но как необыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. Закрывать книжку на последней странице и начинать снова с первой.

И как-то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что ежесекундно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновременно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только-только был избран в Академию и новичком приехал на заседание. Председательствовал великий князь. И сел за большой, покрытый зеленым сукном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседание уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку, опиравшийся на костыль, старичок, опиравшийся на костыль. Ну, конечно, это был знаменитый Бекетов, но был поражен его странным одеянием — на нем был какой-то белый балахон, похожий на ночную сорочку. Впрочем, его туалет, видимо, никто не смутил, и почет ему был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем встали, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц-залу и уселся рядом со мной. Надо было сказать, что в Академии мы были чрезвычайно велики и почтительны и иначе, как «ваше превосходительство», друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по «табели о рангах» соответствовало чину действительного статского советника.

Старичок мой приутился, кашлянул и, наклонившись ко мне: «Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните, ваше превосходительство, точно такая же листвен был, когда мы хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился... а вы?»

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили в 1844 году. — Не знаю, читали ли вы неизданные отрывки из «Хаджи-Мурата», опубликованные несколько лет тому назад. Среди них есть сцена, в которой хорунжиком показывая мертвую голову Хаджи-Мурата. Я не знаю более жуткой сцены во всей мировой литературе. Я много раз ее перечитывал, и каждый раз мной овладевает какой-то мистический ужас, волосы поднимаются на голове...

— Вы едва ли сознаете, насколько выпукло написаны персонажи Толстого. Возьмите какой-нибудь толстовский текст. Каждому портрету улетается всего лишь несколько слов, а создается впечатление, что описана каждая вена. Вы никогда ни с кем не спутаете ни Наташу, ни Соноя, ни Анну. Один только Иван Ильич нарисован общо. Но это ведь Толстой сделал умышленно. Рассказ ему лучше следовало озаглавить «Смерть Ивана Ивановича».

— Да, это необходимо каждому, это как кисл